

УДК 930

**ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧЕРИ***Лина Кертман*32804, Израиль, Хайфа, ул. Клебанов, 12 /1  
lina.kertman@ Rambler.ru

«Мы с Вами словно Атлантиду со дна морского подняли...», – так сказал герой романа В. Гроссмана «Жизнь и Судьба», когда в неожиданном разговоре с человеком «своей группы крови» они «словно подняли со дна затонувший мир книг, картин, философских систем, театральных постановок...» (Речь шла о Серебряном веке, а происходило это – в 1942 году). Я очень хорошо помню радость, потрясение и боль, с какими читала мама этот великий роман, наконец-то ставший доступным, – первый журнал с ним вышел через два месяца после смерти папы, и, обмениваясь впечатлениями, мы все время горевали о том, что он этого уже не узнает...

Погружаясь сейчас в воспоминания об отце, с особой остротой чувствую, что своя «личная Атлантида» есть у каждого много лет прожившего человека. Бывают, однако, в Истории такие «быстрые» Времена, когда, начиная вспоминать сугубо, казалось бы, домашние радости и печали, семейные беседы, споры, шутки, «пароли», вдруг ощущаешь, что вместе с этим поднимаешь большой пласт навсегда ушедшего Времени...

После трагического для нашей семьи 1987 года (отец умер 30 ноября) с невиданной прежде скоростью, буквально «набегая» одно на другое, понесли такие события глобального масштаба, что картина мира изменилась буквально до неузнаваемости. Такие вещи порой ощущаются в мелочах даже острее, чем в очевидных крупных переменах.

Вот только один неприятный пример. «Судя по его мрачному виду, ему что-то купили!» – сказал однажды папа, издав издали увидев понурю фигуру моего шестнадцатилетнего брата, медленно и неохотно приближающегося к нам. Так и оказалось – брат был в новом свитере. Мама чуть ли не «насильно» вытащила его в магазин после звонка своей практичной приятельницы, собиравшей, что там «выбросили» модные свитера. Как трудно сейчас объяснить ребятам нового поколения эту шутку! Для этого им надо было бы «перенестись на машине времени» в ту нашу жизнь, в ту психологию... Мы с братом действительно не любили бросающуюся в глаза нарядную одежду – очень стеснялись «выделяться», выглядеть избалованными «профессорскими детьми» – боялись насмешек, да и самим все такое было как-то чуждо. В этом моем воспоминании нет никакой назидательности, никакого сравнения со следующими поколениями «в нашу пользу». (Боже упаси!) Я теперь сама не знаю, что лучше, понимая, сколько внутренней несвободы было в нас – тогдашних...

Еще один забавный пример: «Из всех искусств здесь кино, по-моему, самое важное». Мало кому в те времена требовалось объяснять шуточный подтекст этого вроде бы «нейтрального» описания жизни в доме отдыха (намек на известное ленинское высказывание – «Из всех искусств для нас важнейшим является кино» – без конца цитируемое тогда и вряд ли столь известное нынешним студентам).

Папа застал только самое начало горбачевской перестройки, когда никто еще не мог предвидеть, насколько далеко «зайдет это дело» (и вообще в каком направлении оно пойдет), но первым «звоночкам» ее успел порадоваться. Помню, как взволнованно он показал мне на последней странице «Аргументов и фактов», где печатались тогда короткие вопросы и ответы еще не привычной остроты, вопрос о возможности пересмотра установившегося взгляда на чешские события 1968 года и ответ: «Да, это возможно!» «Видела?!» – потрясенно восклицал он, почти не веря глазам своим...

Я тоже была потрясена, и не только своими собственными чувствами, но в большой степени и «за него» – слишком хорошо помнила состояние отца в ту жуткую ночь на 21 августа 1968 года... Родители были тогда в доме отдыха в подмосковной Рузе, и так совпало, что я заехала их навестить в тот самый вечер, когда «голоса» сообщили о вводе советских войск в Чехословакию. Оба они были взволнованны, но папу я никогда в жизни – ни прежде, ни после – не видела в таком состоянии.

Он сидел у приемника, согнувшись над ним и горестно обхватив руками голову, и сдавленным голосом говорил: «Боже мой, какой позор! В какой ужасной стране мы живем!»

Так что происходящее с 1985 по 1987 год ощущалось им как постепенное освобождение от так долго давящего плечи груза. Похожее чувство он, как многие, испытывал и в далекие 60-е годы, сам замечая это сходство, и, когда эту преемственность начали озвучивать в прессе перестроечных лет, радостно отметил: «Ты смотри, какую “прямую линию” оттуда ведут! Заметила?!»

К Горбачеву он присматривался с симпатией, хотя говорил, что до того, как сделать окончательный вывод, «имеет к нему тест» – из трех пунктов. Я помню два: Афганистан (решится ли вывести войска) и выборы («изменит ли наконец эту идиотскую систему с одним кандидатом, позорящую страну перед миром»).

...Как больно было, что всего этого (действительно случившегося!), как и освобождения Сахарова, и отмены 6-й статьи Конституции (о руководящей роли партии) папа уже не застал. Особенно горько было нам с мамой (брату, конечно, тоже – просто он уже жил в другом городе и с ним не могло быть такого повседневного «обмена эмоциями») в дни знаменитого съезда 1989 года, когда вся страна много дней не отрывалась от телевизионных экранов. Как радовали бы папу свободные, смелые речи А. Собчака, Ю. Карякина, Ю. Афанасьева (с которым он задолго до этих лет был «шапочно» знаком и с уважением говорил о его «лихих» взглядах)! Честно признаюсь, я тогда шла в своих горьких мыслях и дальше: как органично прозвучал бы на этом съезде и его голос! Ведь вот наступило «его время», которого он так долго... нет, даже не могу говорить, что «ждал», – *такого* не ждал, да *такого* и никто не ждал! Но часто говорил о том, какой бывает нормальная, неунизительная политическая жизнь – в других странах, особенно в его любимой Англии, изучению которой он отдал столько лет и в которой так никогда и не побывал... (Единственный раз в жизни был он за границей – в конце 60-х годов в круизе на теплоходе – по несколько дней в Австрии, Чехословакии, Югославии. И было четкое ощущение волнующей необычности происходящего: «Сидячий поезд с авиационными креслами медленно тянется от Одессы <...>, и я решил выдать первое послание из рейса и последнее – с отечественной территории. <...> Вокруг знакомый украинско-молдавский пейзаж, и вообще все идет как обычно в поездках, так что трудно осмыслить, что рейс все-таки непривычный для меня и знакомство с “южным подбрюшьем Европы” вот-вот начнется», а в открытке из Вены – с юмором: «Представляете, я здесь, оказывается, иностранец, а те, которые иностранцы, наоборот, живут у себя дома, такие вот странности»). Помню, что папа с восхищением и грустью вспоминал о югославских студентах, буднично, «как о самом обычном деле», рассказывающих о поездках в каникулы – иногда для заработка, иногда с целью путешествия «автостопом» – в другие страны). Не надеялся дожидаться, что что-то похожее наступит в Советском Союзе (если в 60-е годы ненадолго поверил, то позднее, особенно после 1968-го, окончательно разуверился). И как несправедливо, что без него столько интересного произошло, как рано он ушел...

Это был последний рубеж борьбы за «социализм с человеческим лицом», в возможность которого папа верил – он всегда говорил, что «стоит на социал-демократической платформе». Помню, как его бывшие студенты и «пожизненные» друзья Михаил Лойберг и Владимир Шляпентох (из его самого первого выпуска в Киевском университете) с нежным юмором называли его «последний марксист».

Если я со сравнительно большой точностью могу представить, как реагировал бы отец на главные события до 1991 года (особенно, разумеется, на август!), то дальше – очень трудно (хотя как раз в самые последние годы все опять «упростилось», и мне легче представлять возможные его реакции...). О таком варианте, как переход к капитализму, мы никогда не говорили (да и у кого хватило бы тогда воображения на такое?!).

О подобной возможности он никогда не помышлял, да, пожалуй, и не считал это желательным, но тогда это было настолько далеко от реальной жизни, что даже не обсуждалось.

Впрочем, не так уж много говорили мы на собственно политические темы... Хотя, когда слышу сейчас некоторые – на самом деле многие! – вещи, о которых тогда страшно было даже подумать, не то что произнести вслух, но которые теперь давно уже звучат как нечто само собой разумеющееся и всем известное (вот и в момент, когда пишу эти слова, по телевизору идет документальный фильм «Серп против молота» – о поразительном сходстве архитектуры, моды, физкультурных парадов в гитлеровской Германии и сталинском Советском Союзе, монументальных картин, изображающих вождей, и живых вождей на трибунах), часто вспоминаю, что впервые слыша-

ла обо всем этом именно от отца. Он сам напряженно приходил к этим тяжелым открытиям, и это вызывало острые переживания, даже потрясения: о внутренней близости Сталина и Гитлера папа взволнованно говорил мне задолго даже до первых смелых «прозрачных намеков» на это в очень понравившемся ему «Обыкновенном фашизме» М. Ромма, о том, что Сталину были органически чужды западные демократии и он твердо предпочитал им немецкий порядок и, как сказано было в каком-то анекдоте или апокрифе, «одному человеку в жизни поверил – Гитлеру», за что папиному поколению пришлось расплачиваться такой страшной ценой.

Но гораздо больше мы все же говорили о другом... Очень много – о стихах. Хотя, пожалуй, я и здесь не совсем точна, пытаюсь совсем отделить эти разговоры «от политики», – так многое спрятано было в подтекстах бывших тогда «на слуху» строк, которыми мы с родителями, как и с друзьями, по ходу спора о чем-нибудь «перекидывались» как паролями (чтобы долго не объяснять, что имеешь в виду), например: «...а если что не так – не наше дело: / Как говорится, родина велела!» (Совсем недавно Евгений Евтушенко «сознался», что это он посоветовал Булату Окуджаве назвать эту песню – ради того, чтобы ее можно было исполнять! – «Песенкой американского солдата»). Написана она была за восемь лет до ввода советских войск в Чехословакию... Сейчас она проходит под естественным первоначальным названием – «Песенка веселого солдата»).

Или еще: «Ученый – сверстник Галилея / Был Галилея не глупее. / Он знал, что вертится земля, / Но у него была семья». Хорошо помню, как сильно эти строки Евтушенко эмоционально «зацепили» папу и киевских друзей родителей, среди которых были и «физики», и «лирики». В какой-то степени это было и «про них» – про их вынужденные компромиссы и горечь от своего многолетнего молчания, когда многое уже было понято и иллюзий почти не оставалось (все они «знали, что вертится земля»), но чтобы открыто сказать обо всем, что поняли, надо было быть бесстрашными героями, какими они не были. Тогда из уст в уста передавалась едкая шутка Хрущева на эту тему: когда после ошеломительных разоблачений в его знаменитом докладе на какой-то встрече с народом из зала был выкрикнут очень смелый по тем временам вопрос: «А что же лично Вы и все вы молчали тогда?!» – он грозно спросил: «Кто это сказал?» В ответ – молчание. Выдержав напряженную паузу, он в еще более резкой манере повторил вопрос – результат тот же. «Вот и мы так же...», – насмешливо заключил Никита Сергеевич, и возразить было нечего...

Да, бесстрашными героями мой отец и его друзья не были, но все же эти стихи – не «про них»: они никого не предавали и старались жить без фальши – хотя бы не говорить того, чего не думали и стараться сказать хоть часть правды. Она звучала в подтекстах их лекций, статей, книг на совсем другие, казалось бы, темы (но слушатели – во всяком случае, те, кто хоть в какой-то степени мыслили в том же направлении, а таких было немало, все понимали...). Так, собственно, поступал и сам Евтушенко – и когда писал об «ученом сверстнике» Галилея, и когда начал свой «Монолог битников» словами: «Двадцатый век нас часто одурачивал, / Нас, как налогом, ложью облагали, / Идеи с быстротою одуванчиков / От дуновенья жизни облетали», и когда назвал явно свою собственную исповедь «Монолог американского писателя»: «Устоев никаких не потрясал, / Смеялся просто над фальшивым, дутым. / Писал стихи. Доносов не писал. / И говорить старался все, что думал. / Да, защищал талантливых людей...» Вряд ли хоть один читатель поверил тогда, что это «стихи об Америке» – слишком ясно все было...

Все такое мы с отцом воспринимали «на одной волне». Тем не менее он настойчиво напоминал мне, что надо бы не утрачивать критериев и помнить, что многие стихи, которыми я бурно восхищалась (особенно – Евтушенко и других «гремящих шестидесятников»), мягко говоря, «далеки от гениальности». Он иногда устраивал «блиц-проверку» моего вкуса, наугад открывая сборники Евтушенко или Вознесенского и спрашивая, талантливо или халтурно написана та или иная строфа. Часто мы совпадали, иногда – бурно спорили. (Неизменное исключение делал он для Беллы Ахмадулиной, которой восхищался и говорил, что у нее бесталанных стихов нет и не может быть).

Его критерии были неизменно высоки: навсегда любимым поэтом оставался Борис Пастернак, которым папа был «опьянен» с ранней юности, когда буквально «зачитывал» им друзей и мою будущую маму в начале их романа. С тех пор у них было много общих любимых строк Пастернака, особенно – связанных с Киевом (городом их юности) и его пригородами... «Два клена в ряд, за третьим, разом / – Соседней Рейтарской квартал».

На Рейтарской улице был дом папиного детства. В 1931 году, когда были написаны эти строки еще не известного ему Бориса Пастернака, ему было 14 лет и он жил там с родителями и стар-

шим братом и каждый день видел эти «два клена», а еще незнакомая ему моя будущая мама жила совсем рядом – на Стрелецкой. Приезжая сейчас в Киев, я всегда иду на эти улицы, в папин двор... Там жил и Лев Копелев, в то время он больше дружил с папиным старшим братом Семеном, и они не всегда брали «младшего», с завистью глядящего им вслед, на свои вечерние прогулки... (А мама больше всего у Пастернака любила: «Ты здесь, мы в воздухе одном. / Твое присутствие, как город, / Как тихий Киев за окном, / Который в зной лучей обернут. <...> / Твое присутствие, как зов / За полдень поскорей усесться / И, перечтя его с азав, / Вписать в него твое соседство»).

В отличие от многих мужчин папа неизменно предпочитал ахматовской сдержанности Цветаевскую безмерную открытость, столь многих пугающую. Однажды и навсегда был он потрясен ее «воплем женщин всех времен» (имею в виду и стихи с этими словами, и – ее поэзию в целом). Глубоко чувствовал ее единственность в мире – настолько, что был уверен, что стихи Тарковского «Марина стирает белье» – о любви к ней. «Ты думаешь? Но ведь ей тогда было уже 48 лет!» – наивно восклицала я в свои 25. «Да, но это была Марина!», – отвечал отец. (Вообще мы много говорили о ней – я рассказывала обо всем новом, что удавалось узнать, его все это тоже волновало...)

А «в живой жизни» он был потрясен встречей с Ольгой Берггольц (в Кисловодске), о которой писал маме: «Наиболее интересный здесь человек – это Ольга Берггольц <...> она – комок нервов, горя, большой любви и ненависти <...> Недавно я привез ее в гости к Иосифу (киевскому другу юности, после 1949 года живущему в Пятигорске. – Л. К.). Мы провели много часов (в основном за ресторанным столиком), она была в ударе (не без влияния выпитого), много рассказывала и читала стихи, которые вряд ли попадут в печать. Временами на нее страшно смотреть – так она обнажена душевно. <...> если через чье-нибудь сердце прошла трещина мира, то – именно через ее. Во всяком случае, в числе самых интересных недолгих знакомств, которые мне приходилось иметь, это, пожалуй, наиболее значительное. Сквозь нее “история орет”».

Чтобы примирить свою глубокую любовь к большой поэзии со способностью душевно откликаться на строки совсем иного уровня, папа изобрел оригинальное выражение «Хорошие плохие стихи». Он был убежден, что такие существуют и имеют безусловное право на существование. (И искренне любил и с энтузиазмом распевал песни Утесова или стихи К. Ваншенкина в исполнении Марка Бернеса. Однажды перефразировал в письме моему тогда совсем маленькому брату – дошкольнику: «Есть Герка, которого вижу во сне, / Мой добрый товарищ по песням, / Лежит на песке он, как пышка в огне, / А писем не пишет, хоть тресни! / У Черного Моря...») Мне очень хорошо запомнилось, как однажды его взволновали строки опубликованных в «Юности» стихов какого-то немолодого поэта (я и сейчас не помню, к сожалению, его фамилии), в которых звучала запредельная усталость от вечной необходимости «тянуть лямку» и всяческой суеты, не дающих ни во что углубиться, ни о чем подумать всерьез, ничего написать не «по долгу службы» («Мне часа для вечности нет!»), и в последней строфе: «Но, горько глотая обиды, / И беды, и боли свои, / Мужчины не сходят с орбиты / Работы, заботы, семьи». За давностью лет не ручаюсь за точность цитирования, но две последние строки четко врезались в память. И еще запомнилось, с каким пониманием, уважением и сочувствием, как «по-братски» вглядывался папа в небольшую фотографию этого человека. Я тогда уже не в первый раз подумала, что после гибели на фронте двух его самых близких друзей папе остро не хватало в жизни настоящей мужской дружбы...

А «хорошими плохими стихами» он называл и многие строки Евтушенко и Вознесенского, и даже гораздо более по-человечески близкого ему Наума Коржавина, чьи стихи о предвоенной юности их поколения были по-особому близки: «Гуляли, целовались, жили – были, / А между тем, гнусява и рыча, / Шли в ночь закрытые автомобили / И дворников будили по ночам». Они перекликались с папиными юношескими стихами, написанными в 1942 году в госпитале: «Отчего вы плачете? – Выдумали сказку <...> / Думаете – в Киеве много счастья было? / А о том забыли вы, как в ночную тьму / Черные, угрюмые шли автомобили – / Эти люди – кто они, как и почему?». Это совпадение всегда радовало и волновало. Свои стихи он тоже так называл – «хорошими плохими».

Когда сейчас иногда звучат по радио грустные стихи Юрия Левитанского (положенные на музыку, но отец любил их и до этого), в которых первая строфа заканчивается словами: «День прошел – как не было. Не поговорили», а последняя – «Жизнь прошла – как не было. Не поговорили», я всегда «слышу» их «с голоса папы», и даже чудесное пение Никитиных его не заглушает... И думаю о том, что это – не о нас. Хотя, конечно, все равно – не наговорились. Говорю это о своем чувстве, а сравнительно недавно с волнением обнаружила, что этот мотив звучал и в папиных

письмах маме: «В общем мне здесь хорошо, но временами посидел бы лучше вечер с тобой и с Геркой – вроде и много у нас этого, а все же не хватает...». Писал он домой из Кисловодска. Я в то время жила в другом городе.

Много говорили и о любимых фильмах, спектаклях, книгах. О книгах – больше всего. Когда много лет спустя я впервые прочла в письме Марины Цветаевой ее обращенный к новому знакомому вопрос «Живете в книгах?» (это почему-то стало для меня «последним толчком» для принятия решения писать книгу о ней...), в моей памяти прежде всего всплыли книги, в которых мы с папой «жили». У него всегда была книга, в которой «жил» в данный момент, на которую находил хоть полчаса в день. Иногда даже делал перерыв в работе и открывал «Новый мир» с новой повестью или перечитывал что-нибудь давно любимое. Я недаром начала эти воспоминания с того, что поднимаю пласт ушедшего Времени... Тогда люди нашего круга, который был достаточно широким, много читали, и какие-то вещи (в частности, имена героев, яркие реплики) были настолько «на слуху», что не требовали разъяснений.

О книгах – любимых или не очень – мы часто говорили как о живой жизни, о героях – как о живых людях, и фразы из романов тоже становились «паролями», звучащими в разговорах совсем не о литературе. (С мамой-филологом мы, конечно, тоже обменивались впечатлениями о прочитанном, но по-другому – *так* почти не получалось, ее профессиональный подход я часто ощущала как преграду разговору, какого душа просила...) И в письмах папы – маме, мне, брату, друзьям – тоже много упоминаний о мыслях и переживаниях литературных героев по ассоциации или контрасту с собственными. Не могу удержаться от примера (одного из очень многих...): «...только я никак не могу понять, почему “большой роман Хемингуэя” вызвал у тебя именно данный строй чувств. Правда, я читал только концовку (№ 1), но не может быть, чтобы я “не понял ничего”. А если понимать, то там, наоборот, не такой должен быть, мне кажется, поворот чувства. Не мог он, главный герой, всю жизнь понимать, кто его по-настоящему любит – вот что ему сказал под конец его друг!» (Но вообще письма моего отца – это особый большой сюжет, ждущий... пока не знаю чего. Знаю только, что они не должны пропасть).

«Мне никто ничего не должен!» – папа часто напоминал мне эти слова Кола Брюньона (из одноименного романа Ромен Роллана). Уверенно могу сказать, что эта страница – одна из самых для него значимых во всей мировой литературе: герой чуть не сломался под грузом многого, тяжелого и трагического, что свалилось на него... Сожжена мастерская, и пропало все сделанное им за долгие годы жизни, не радуют выросшие дети и многое в стране и в мире, и он погружается в глубокую тоску и засыпает в грозовую ночь на голой земле, но просыпается – обновленным: «Стану я дуться на жизнь, как старый дурак, от того, что и это и то – не так? Стоит только разохотиться <...> вечно человек будет недоволен, вечно будет желать больше, чем ему дано! <...> Да и лучше ли мне будет не на моем месте? Я у себя. И здесь я остаюсь, и здесь я и останусь, черт побери, насколько можно дольше. Да на что мне и жаловаться? Мне в сущности никто ничего не должен. Я ведь мог и вовсе не родиться...».

Эти слова восхитили папу еще в ранней юности, когда прочел их впервые, и память о них он пронес через всю жизнь как свое нравственное кредо. Это, разумеется, не значит, что у него не было самых мрачных настроений, самых тяжелых и острых переживаний. Он вовсе не был таким «несгибаемым оптимистом», каким сейчас предстает иногда в воспоминаниях людей, не так близко его знавших... Но было у него твердое убеждение, что именно такое восприятие жизни – самое мудрое и правильное и к этому необходимо стремиться. И иногда ему это удавалось.

Мне же, честно признаюсь, не удавалось никогда. Да и эти страницы не стали моими любимыми (хотя «отвлеченно поэтически» признаю их силу). Мы с папой спорили об этом кредо. Я утверждала, что так же, как мы (каждый человек) многое «должны миру и людям», так и наоборот, на этом мир держится, по-другому было бы невозможно, и мне даже казалось ханжеством утверждать обратное... Это так и осталось одним из не очень многих наших «мировоззренческих расхождений». Но многие другие предпочтения и отталкивания – и в литературе, и в жизни – я «унаследовала» от отца. Он часто обращал внимание на «не главные» эпизоды романов – так, в бывшем в том году у всех «на слуху» «Звездном билете» В. Аксенова выделил мало кем замеченный тогда момент, очень нас развеселивший: Алик, собирающийся стать писателем, всюду таскающий за собой пишущую машинку и на каждом шагу цитирующий модных тогда «Хэма» и Ремарка, повзрослев за описанное в романе лето, вдруг «покаянно» восклицает: «Ребята! А ведь “Анну

Каренину” я не читал!» Это тоже стало у нас своеобразным паролем – папа вполне мог сказать так о ком-нибудь из студентов или новых знакомых: «Да он “Анну Каренину” не читал!» (Так Твардовский говорил про молодых писателей, не читавших «Капитанскую дочку», что бывало сразу видно ему по написанному ими...)

Другой пример из «неглавных» эпизодов: «Это из серии – “Меня никогда не мутит!” – говорил папа о какой-нибудь самоуверенной даме, с апломбом изрекающей банальности. И сразу становилось понятно, о чем речь. Он давно уже обратил мое внимание на далеко не самую заметную сцену в нашей любимой, не раз перечитанной «Сage о Форсайтах» – на диалог Флер с «дикой американочкой» Энн (наивной и милой молодой женой Джона, ничего не знающей о давней драматичной истории их любви и разлуки): на холодно-вежливый вопрос Флер о том, как она перенесла морское путешествие, Энн доверчиво ответила, что нелегко, что плохо себя чувствовала – был приступ морской болезни, мутило... «Очень неприятно, когда мутит, правда?», – эти искренние слова папа цитировал с умилением, и сразу можно было представить, с каким ласковым сочувствием откликнулся бы он (да и не раз откликнулся!) на такое в жизни. «Меня никогда не мутит!» – отрезала Флер. При воспоминании об этой реплике папу буквально «передергивало» – так ответить на доверие, на полную естественность! Отсутствие благородства всегда коробило его. И всегда трогали (как и в жизни) беззащитность и почти детская искренность молодой женщины, способной так доверчиво сказать и спросить. «Обидеть такую девушку – и она ведь ничем не виновата перед ней (Джон и Энн встретились через несколько лет после его разлуки с Флер, когда сама она была уже несколько лет замужем) – это все равно что «убить пересмешника!» – говорил он. Впрочем, в наш «пароль» – «Меня никогда не мутит!» – на самом деле входил более широкий спектр раздражающих отца вещей – например, ханжеские уверения типа «Я никогда в жизни не пользовался блатом!», когда это явно было не так. Благодаря отцу я на всю жизнь запомнила, что в любом высокомерии (качестве самом по себе очень неприятном!) почти всегда есть еще и немалая доля лицемерия, а он и того и другого терпеть не мог.

Любимые героини моего отца – это вообще особый сюжет... При том, что «Хождение по мукам» А. Толстого не было его любимым произведением, героини с такими милыми домашними именами – Катя и Даша – оказались неожиданно близки к его идеалу «вечной женственности». В основном, разумеется, это относится к первой – «дореволюционной» – части трилогии («Сестры»), пока они живут в мире вечных общечеловеческих ценностей – до того, как они (впрочем, как и их любимые мужчины) ни с того ни с сего полюбили советскую власть.

Насчет истинного отношения автора к большевикам у папы было одно давнее «подозрение»: с юмором вспоминая реплику одного из белогвардейцев («Рощин – большевик и дерьмо!») – эта реплика почему-то ужасно смешила нас), он уверенно восклицал: «Проговорился граф!». Но каковы бы ни были моральные качества «красного графа» – как известно, «талант не спрячешь!» И как любовался отец этими «не современными» женщинами, когда они расслабленно, никуда не спеша, «чистили перышки», – сами слова эти умиляли его, и он часто произносил их, говоря о женщинах, долго готовящихся к какому-нибудь «парадному выходу». Если папа говорил о сходстве знакомых женщин с «сестрами» из «Хождения по мукам», это было в его устах лестным комплиментом. Помню, как любовался он двумя сестрами – Катериной Ивановной Соколовой (в далеком тогда будущем ставшей тещей моего брата Геры) и ее сестрой Викторией, в которых увиделось ему что-то напоминающее любимых героинь. Все они были так еще молоды в моем детстве в то далекое лето конца 50-х годов на украинской даче... Их имена – «Катя и Вика» – звучали почти как «Катя и Даша». Мягко женственные, обаятельно хрупкие, и было в них что-то напоминающее о начале века.

В «Хождении по мукам» есть несколько по-особому растрогавших отца эпизодов, когда в этих хрупких женщинах вдруг обнаруживалась неожиданная сила: Даша – совсем еще «гимназисточка» – неопытная, невинная, строго целомудренная, и это ОНА решительно берет за руку взрослого, опытного Ивана Телегина, огрубевшего на фронтах обеих войн (Первой мировой и Гражданской) и потому особенно робеющего перед ней, боявшегося невольно оскорбить грубостью, – и ведет в спальню со словами «Идем, Иван!» – «Эта девочка... С ума сойти!». Очень помню ту интонацию отца...

Другой эпизод: Катя по настоянию младшей сестры, не терпящей лицемерия и притворства, признается мужу в измене. Как трудно ей было решиться на это признание и, главное, *как* она дела-

ет его – честно и прямо, но и мягко, виновато, искренне огорчаясь от того, что причиняет мужу боль... Все умиляло и вызывало сочувствие.

И – по контрасту! – резко не любил отец Анну Каренину. Не за саму измену, не за любовь к другому, но – за высокомерие, за самоуверенное ощущение себя в праве не считаться со страданиями ни в чем не виноватого перед ней мужа. По тем же причинам еще больше не любил он Ирэн в «Саге о Форсайтах» – настолько, что не мог понять во многом симпатичного ему автора, так настойчиво стремящегося воплотить в этой героине свой идеал. Удивлялся, как может он не видеть за пределного эгоизма и даже «элементарного хамства» своей любимой героини во многих эпизодах, особенно когда она – счастливая, поглощенная не изведанными прежде чувствами, с ощущением полета в душе – возвращается с любовного свидания в дом мужа, ничего плохого ей не сделавшего и никак не виноватого в том, что она его не любит и потому ей плохо в его доме, и на вопрос его «Где была?» резко бросает ему в лицо: «В раю – не у Вас в доме!» Папа не раз говорил о безобразном звучании этих слов (особенно потому, что она говорит это, возвращаясь в тот дом!), и никакая ослепительная красота не компенсировала в его глазах такое, поэтому эта героиня в его восприятии лишена так ценного им женского обаяния.

Кстати, о «вечной женственности»: все, что А. Блок и А. Белый «под дурным влиянием Зинаиды Гиппиус накрутили вокруг этого» (как полушутя говорил папа, называя их построения «вымученной философией»), было ему бесконечно чуждо: «Лучше Магдалина – даже и не кающаяся – чем весталка! – Не для того все это – вся жизнь земная – придумано...», – однажды написал он мне в своем «лирико-философском» письме. (И не потому ли еще, – думаю я сейчас, – бесконечно ближе А. Блока всю жизнь был ему Борис Пастернак, в чьей лирике «женская тема» всегда звучала совсем по-иному...) В связи с этим папа всегда с большим сочувствием говорил о Любе Менделеевой, жалея «бедную девушку», полюбившую великого поэта и попавшую в эту противоестественную ситуацию. (Блок, как известно, с юных лет был убежден, что к боготворимой им «Прекрасной Даме» нельзя относиться как к земной женщине и что, даже женившись на ней, следует соблюдать обет целомудрия). Отец высоко оценил ее воспоминания за искренность без приукрашивания себя, и – по той же логике! – резко не понравились ему высокомерные слова Анны Ахматовой об этих воспоминаниях: «Чтобы остаться Прекрасной Дамой, от нее требовалось одно – промолчать!» – Но в том-то и дело, что она не хотела «оставаться прекрасной дамой!» «И холодно ей озареньем слушать!» – сказано у Наума Коржавина пусть и не совсем о таких, но о похожих в главном ситуациях. Любовь Дмитриевна была живой и естественной женщиной и страдала от холодной атмосферы в их доме. И это вовсе не было с ее стороны «низменным непониманием высокой души поэта» – в ее позиции есть своя высокая земная правда. И я без слов понимала по лицу отца, что в ахматовских словах о ней ему слышалось то самое ненавистное «Меня никогда не мутит!»

Перечитав написанное, я вдруг остро ощутила одну опасность: «для объективности картины» необходимо все же вспомнить, что далеко не всегда нравилась папе та крайняя степень погружения в мир книг, при которой возникает угроза «побега от реальной жизни», чем я грешила в те давние годы... Запомнился один случай: это было летом в Прибалтике, мы с большой компанией друзей родителей и их детей ехали в экскурсионном автобусе и бурно спорили о какой-то книге, пока не раздался папин возмущенный призыв «смотреть по сторонам» – «а то любые места делаются просто незамечаемым фоном, на котором люди читают и говорят о книгах!» В самом деле, мы ехали по очень красивым местам...

...А слова «убить пересмешника», о которых я уже упомянула, тоже стали нашим «паролем». Когда один наш знакомый неожиданно оставил молодую жену, очень любящую его и всегда как-то беззащитно-восторженно на него глядящую, папа был буквально потрясен и долго не мог прийти в себя. И я снова услышала: «Это все равно что “убить пересмешника”!» Не мог понять, как мог не остановить того человека ее взгляд – такой беззащитный... В нем вдруг ожило тогда одно страшное воспоминание, о котором никогда прежде не рассказывал: в море в шторм утонула маленькая девочка (незнакомая). Это случилось чуть ли не на глазах – его и других сильных мужчин, все они бросились спасать, ныряли, захлебывались, но найти и спасти не смогли. Один из них чуть не погиб – он рассказал, что в какой-то момент видел девочку, но не смог ухватить – выскользнула из рук, он нырял снова и снова, и, когда еле вышел на берег, потерял сознание. Папа говорил, что так же, как тогда он долго не мог смотреть на море – ненавидел, так теперь (при всей несопоставимости...) его начинает «тошнить от жизни», в которой есть такие предательства. (По далекой ассоциации мне

сейчас вдруг вспомнилось, как у него, еще сравнительно молодого в 60-е годы, буквально заболело сердце после игры Яковлева в старом фильме «Идиот» – так потрясен был глазами актера, с беззащитно-детским изумлением глядящего на Ганю Иволгина в момент пощечины. Говорил, что это что-то запредельное...)

Но продолжу о любимых героинях отца. При всей нежной симпатии к героиням, обладающим «аурой вечной женственности», более глубокую общечеловеческую симпатию (тоже, впрочем, не отделимую от мужской) он все же испытывал к героиням иного типа, ценным им за другое – гораздо более важное в его системе ценностей... Благодетельство. Умение понимать. Сочувствовать. Умение дружить с мужчиной. Просто дружить – вне любви. Но и «внутри любви» тоже. Об этом однажды очень хорошо сказала моя подруга Надежда Гашева в своей прекрасной песне – она спела ее в нашей «знаменитой» квартире «на Компресе», уже ушедшей в легенду вместе с теми годами... Как строго-завораживающе она пела! И с каким восхищением папа слушал! Прошло очень много лет. Сейчас я помню всего две строки из нее (те самые, что вызвали папин потрясенно-одобрительный возглас): «Мы были друзьями / За несколько слов до любви...».

Были друзьями, способными многое понимать в мужской душе и жизни – даже такое, что традиционно считается психологически не доступным для женщин... В русской классической литературе, как ни странно, таких героинь не находилось. Мы даже тест однажды устроили – кто кого назовет. Не получилось! Очень уж они строги и требовательны к своим избранникам и вообще нетерпимы к слабостям человеческим! (Помню, что я пыталась спорить и назвала Наташу Ростову, которую в строгости и нетерпимости упрекнуть трудно. Но отец отмахнулся – что-то в ней почти безотчетно раздражало его). Да и с юмором у них плоховато! – продолжал он «обличать». – Ты только посмотри: ни одной героини с живым чувством юмора в русской классике! Нет в ней таких, как Динни Черрел, как Патриция Хольман (из «Трех товарищей» Ремарка), – вот уж кому органически чуждо такое, как «меня никогда не мутит!»

Патриция Хольман... Как посмеялась бы она – вместе с Робертом и его друзьями – над таким заявлением какой-нибудь важной дамы! Сколько в ней мудрой терпимости и милого юмора! А как сумела она почувствовать и оценить их мужскую дружбу, как чутко старалась ничего в ней не испортить!

«Мой добрый старый дружище...», – говорит Роберт своей «Пат» в их самую тяжелую и самую нежную минуту... Только такую – «не законченную и не совершенную» – смог он (надорванный, душевно опустошенный и мало во что верящий после такой войны) полюбить так, как никогда не полюбил бы «совершенную женщину», которую «никогда не мутит»!

Так и у Голсуорси: Уилфрид Дезерт – прошедший ту же войну летчик (но еще и поэт...) – сумел полюбить поразительную девушку Динни, как не смог бы никого больше. Папа не ошибся, сказав, что Динни, как ему кажется, должна мне очень понравиться. И история ее любви – тоже. Это осталось со мной на всю жизнь.

А в папином отношении к этой героине – в том, как он восхищался и любовался ею, ее юмором и душевной тонкостью, – было что-то трогательно похожее на отношение к ней в самом романе мудрых старших родственников – братьев ее отца, с которыми у нее были очень теплые доверительные отношения и исповедальные разговоры. Похожие отношения и разговоры бывали и в жизни моего отца – с детьми родных и друзей, доверившимися ему гораздо более раскованно, чем своим родителям...

Патриция Хольман, Динни Черрел, Мэри Глостер – редкие женщины, которых вопреки давнему морскому обычаю можно «взять с собой на корабль». Роберт и его друзья в «Трех товарищах» поняли и оценили это – и были «на одной палубе» с Пат до самого конца... Майкл Монт – самый любимый папин герой не только в «Саге о Форсайтах», но и едва ли не во всей мировой литературе! (Чуть позже я расскажу, какую парадоксальную роль в моей судьбе сыграла эта любовь к Майклу Монту, сначала «унаследованная» от отца, а потом горячо мною «присвоенная». Так горячо, что, когда я выходила замуж за своего первого мужа, друзья написали большую «поэму» о нашей истории, где была такая строфа: «Был октябрь, а быть может, май, / Далеко был братишка Гриша, / По-английски подумала – «Майкл!», / И по-русски промолвила – «Миша...»)

...К Майклу у папы было особенно сокровенное отношение. Ощущаемый как очень симпатичный человек, во многом сердечно понимаемый им «изнутри», с живым и обаятельным, очень близким папе чувством юмора, этот герой оставался для него в чем-то недосыгаемым идеалом. Вос-



хищала редкая чуткость, благодаря которой он смог, женившись на Флер, почувствовать, как много значила она для своего отца, как Сомс «осиротел» после ее замужества, и старался почаще оставлять их вдвоем; восхищала терпимость даже к причинившим ему страдания людям, способность сочувственно понять их переживания. «Птица подстрелена из обоих стволов и все-таки живет; так неужели человек, в котором есть хоть капля благородства, причинит ей еще боль? Ничего не оставалось, как поднять ее и по мере сил починить ей крылья...», – так думает и чувствует он, узнав об измене любимой жены и о том, что она до их встречи, и всю жизнь потом, любила другого и страдала от вынужденной разлуки с ним навсегда... Фронтовые воспоминания (как большинство молодых героев литературы тех – после 1918 года – лет, Майкл прошел войну), придав горькой ироничности его уму, не ожесточили его душу. Он сохранил способность чувствовать состояние другого и находить единственно верные слова и жесты, чтобы поддержать, утешить, помочь. Сохранил и верность фронтовой дружбе – в таких обстоятельствах, в каких немногим удалось бы ее сохранить.

Верность фронтовой дружбе... Эта тема волновала отца еще и как фронтовика. И потому совсем по-особому волновал его в «Трех товарищах» один эпизод: Роберт уже знает, что Пат смертельно больна. Санаторный врач растерян, не зная, как справиться с сильным горловым кровотечением, ее лечащий врач далеко, до него не удастся дозвониться, и вдруг... «И вдруг я сообразил, как поступить. Я снял трубку и назвал номер Кестера. Его-то уж я застаю на месте. Иначе быть не может. И вот из хаоса ночи выплыл спокойный голос Кестера. Я сразу же успокоился и рассказал ему все. Я чувствовал, что он слушает и записывает. – Хорошо, – сказал он, – сейчас же еду искать его. Позвоню. Не беспокойся. Найду. Вот все и кончилось. Весь мир успокоился. Кошмар прошел. <...> Я уже не был один. Теперь где-то там на юге, за горизонтом, ревел мотор. За туманом по бледно-серым дорогам летела помощь <...> две руки сжимали рулевое колесо, два глаза холодным уверенным взглядом сверлили темноту: глаза моего друга». Друга, с которым они вместе были на фронте.

Я очень хорошо помню, как взволнованно папа читал это вслух. И часто вспоминал. Много за этим стояло... Правда, у него самого не было связи с теми, с кем вместе воевал, – он был тяжело ранен в первые месяцы войны, но когда жизнь сводила его с фронтовиками, пусть воевавшими в совсем других местах, всегда чувствовалась мгновенно возникающая особая глубинная связь между ними – отец на глазах молодеет, и в их речах начинали звучать какие-то давние полузабытые, но в эти минуты всплывающие интонации и незнакомые мне названия мест... Но название «Жлобин» было знакомо нам с братом с детских лет – там началась папина война. Потрясающее воспоминание моего брата: после окончания школы они с отцом отправились в путешествие по местам тех боев и совсем неожиданно увидели в Жлобине удивительный памятник с надписью «Воинам – освободителям 1941 года». Папа долго смотрел на него, не веря глазам своим. Он был одним из тех освободителей... Уже отступив на восточный берег Днепра и взорвав за собой мост, они получили приказ вернуться и выбить немцев из Жлобина. Вернулись и освободили город... на пять дней. Дальше удерживать тогда не получилось. Памятник был поставлен на собранные средства – по инициативе тех евреев, которые успели уйти. Те пять дней спасли их от неминуемой гибели. Город освободили только через два года, но многих людей – еще тогда... В тех боях отец был представлен к ордену Красной Звезды с необычной формулировкой «За спасение командира»: командир очутился на нейтральной полосе между нашими и немцами – не смог выбраться, когда началась жуткая стрельба, потом настала долгая и непонятная мучительная тишина, и отец поднял бойцов в атаку. «Просто нервы не выдержали», – говорил он, посмеиваясь, годы спустя. Командира отбили, но до получения награды дело не дошло: вскоре папа был тяжело ранен и отправлен далеко от тех мест... Только в 1966 году в пермском военкомате вдруг отыскалось то давнее представление, но теперь почему-то вручили не тот орден, а Отечественной войны 2-й степени. Папа шутил, что и орден этот, и медаль он получил «за то, что медленно отступал». Участвовать в наступательных боях ему не довелось...

Я уверена (хотя впрямую папа никогда не говорил об этом), что долгие годы он тосковал по такой мужской дружбе, как в «Трех товарищах», какая могла бы быть в его жизни, но... Самые близкие друзья погибли на фронте в те первые месяцы. Борис (Погребинский) и Юлик (сейчас забыла фамилию) – эти имена я слышала с раннего детства. В 1942 году в госпитале папа написал обращенные к Юлику стихи, где вспоминались «студенческие споры трех друзей / и мрачные гипотезы Бориса». Заканчивались они словами: «Настанет день. Ты будешь ли со мной, / Мой старый друг и умный собеседник?» Когда писались эти слова, Юлика и Бориса уже не было в живых.

А другие... «Иных уж нет, а те – далече...» «Далече» были друзья-приятели, разбросанные по «городам и весям», после разгромной кампании против «безродного космополитизма» в 1949 году вынужденные уехать из родного Киева, за который сражались на фронте, по которому так тосковали долгих четыре года. (И просто уехать – это было еще далеко не самым худшим вариантом...) Снова разрушались давние связи – пусть не до конца, пусть поддерживаемые письмами и летними встречами, но все же...

И дело было не только в этом. Мне очень хорошо запомнилось одно горькое разочарование отца. Это было осенью в Москве. Он очень ждал телеграммы или письма из далекого города – от друзей, с которыми незадолго до этого, съехавшись семьями, провели вместе чудесное лето, когда был у них всех некий взлет молодого романтизма и казалась несомненной возможность обратиться друг к другу за помощью в трудных обстоятельствах, о чем много и возвышенно говорилось. И вскоре такая необходимость возникла. Папа отправил им телеграмму с важной просьбой, каждый день ходил на Центральный телеграф, и вот долгожданная телеграмма пришла... Если отбросить все оговорки, по сути, это был отказ помочь. Отец был ошеломлен. Сам он столько раз в жизни бросался на помощь гораздо более далеким людям, что не был готов к такому. Он был так сильно травмирован, что даже как-то стеснялся остроты переживания. Мы долго ходили тогда вверх и вниз по многолюдной Тверской (тогда улице Горького), почему-то не догадываясь свернуть куда-нибудь в тихий переулок, где было бы удобнее бродить, и папа с горькой иронией говорил, что в его возрасте (ему было тогда 50 лет) уже «не полагается» так реагировать – «разочаровываться в друзьях», как бывает в молодости, что пора наконец перестать удивляться такому и становиться «совсем взрослым». Я точно помню, что он сказал именно так.

Представляю, как удивят эти его слова многих людей, помнящих моего отца (в то самое время, о котором пишу!) взрослым и мудрым, именно – умудренным немалым жизненным опытом, уверенным, способным дать и глубокий тонкий совет на психологические темы, и – просто практичный, разумный, «земной». С ним многие советовались, ему многое доверяли (и люди его поколения, и аспиранты, и дети друзей и родных), и его советы многим помогали. Все это – тоже правда. Но – не вся. Мало кто знал другую сторону его внутренней жизни... На самом деле этот мотив (что значит быть «совсем взрослым») не раз звучал в его письмах и разговорах. И в связи с этим многое тревожило его и во мне... «Ну, ты уже закончила наконец школу?! – с этим вопросом в последние месяцы моей школьной жизни папа «подступал» ко мне каждый день. – Давно пора! Мне это надоело!» Шутки шутками, но ему в самом деле надоели мои бессмысленные и бесполезные мучения над всеми не дающимися «физиками – математиками» и мое уныние от необходимости заниматься множеством таких чуждых душе предметов. Казалось, что стоит мне заняться наконец на филфаке любимыми предметами – и все сложности отпадут. Но увы – все оказалось не так просто...

Совсем молодым, задолго до моего рождения, мечтал он о «взрослой дочке» – умной, самостоятельной, гордой девушке, живущей творческой жизнью. Даже имя (мое) придумал еще тогда. Но мое «взросление» как-то очень затягивалось... «Теоретически» можно подумать, что при такой внутренней близости у нас не могло быть ничего даже отдаленно похожего на «пресловутую» проблему «отцов и детей». («Пресловутой» назвал ее Н. С. Хрущев, «со всей большевистской прямотой» обрушившись на эпизод из фильма М. Хуциева «Застава Ильича», вызвавший тогда бурную полемику, – в воображаемой встрече 23-летнего героя с погибшим на фронте в 21 год отцом в ответ на вопросы сына, растерявшегося перед поставленными его временем проблемами и не знающего, как жить дальше, отец отвечает, что он ничем не может ему помочь (он моложе и решал проблемы своего времени – спят его бойцы, завтра он поведет их в свой последний бой), а в новых вопросах сын должен разобраться сам, вместе со своим поколением. Н. С. Хрущев яростно утверждал, что при социализме между поколениями отцов и детей нет и не может быть таких отчуждений и тем более расхождений, так как их объединяют общие коммунистические идеалы). Это отрицание очевидного нас очень сместило. Помню, что в нашей студенческой компании было много шуток на эту тему – приходящего из дома в хмуром настроении приятеля могли спросить: «Что случилось? – Опять «не существующая проблема?!» На самом деле как раз тогда во многих семьях шли бурные баталии, так как «отцы»-сталинисты были недовольны всем сказанным на XX и XXII съездах о «культе личности» и тем, как это «повлияло на молодежь». Это не значит, конечно, что споры в домах шли буквально на эту тему, хотя бывало и такое – внутренняя свобода «детей» проявлялась в

разных, даже самых простых житейских ситуациях, пугая и возмущая приверженных прошлому отцов. Но у нас-то все было по-другому! «Современник», «Таганка», «Тарусские Страницы» – все это было дорого и близко моим родителям и их друзьям так же, как мне и моим.

Тем не менее далеко не всегда папа бывал доволен мной: «Очень огорчает обломовство Линки, тормозящее и ее работу над передачей на эту самую тему», – писал он маме. (Я тогда – в год «очно-вечернего» обучения, введенного «все тем же» незабвенным Никитой Сергеевичем для первокурсников, поступивших в вузы прямо из десятилеток и не имеющих производственного стажа – работала на телевидении и готовила передачу о Гончарове). В другой раз он писал, чтобы мама не огорчалась из-за «дурацких приписок» (к его письму) «ее детей» и помнила, что письма, особенно вот такие, «под давлением сделанные» приписки, – «не всегда зеркало души». Думаю, что восьмилетнему тогда брату он в глубине души легче прощал такие вещи, чем восемнадцатилетней мне!

Вообще же наши конфликты часто бывали парадоксальными: получалось, что, следуя его же системе ценностей, всей душой мною разделяемой, я невольно какие-то вещи доводила, по его словам, «до абсурда». Забавный пример: отец часто говорил, что, когда человек по-настоящему чем-то увлечен (работает ли над какой-то темой или просто обдумывает что-то заинтересовавшее), это «не отпускает» его, чем бы ни занимался, что жалующиеся на отсутствие времени женщины забывают, что думать можно и нужно и по дороге на работу, в магазин, на рынок, как и во время стирки, уборки, готовки. Вскоре после защиты докторской диссертации, делясь сумбурным настроением от состояния некоторой растерянности после многолетнего напряжения и сосредоточенности на одной цели, папа писал мне: «...дни текут как-то между пальцев, не принося плодов в работе и нередко не доставляя удовольствия <...> будем считать, что я тебе “поплакал в жилетку” и сделаем единственный вывод: “Нельзя ни на один день оставаться без главного жизненного стержня”». Мне в какой-то мере нравился такой подход (не всегда, впрочем...), но во время моих – в те годы, признаюсь, не частых – «подвигов на домашней ниве» отцу поневоле часто приходилось «истошно кричать» прямо противоположное: «Думай о том, что ты делаешь!», потому что забытая на огне картошка разваривалась, вместо соли в кастрюлю сыпался сахар, плохо отжатая тряпка не вытирала пол, только что бывшая в руках иголка терялась и ее испуганно искали всей семьей – и все потому, что я «думала не о том, что делаю!» (И сейчас, когда, случается, снова не вовремя задумаюсь «не о том», сама напоминаю себе этот отцовский «наказ»).

Случались, конечно, и более серьезные разногласия: в студенческие годы у меня было много друзей и приятелей, был круговорот звонков, встреч, вечеринок, чтения стихов, разговоров о них, я подолгу задерживалась после занятий в восьмом общежитии, домой часто долго шла пешком в компании или провожаемая кем-нибудь одним, а потом, случалось, еще и продолжала «недосказанное» в телефонных разговорах. И, хотя все это было, конечно же, моей «отдельной» жизнью, где-то в подсознании, специально об этом не задумываясь, я воспринимала это как естественное продолжение «жизненной линии родителей». В самом деле, любовь к друзьям и к стихам, которыми мы «зачитывали» друг друга, порой не расходясь до рассвета, долгие прогулки и подробные разговоры на психологические темы (не в шумной компании, конечно) – все это было и в их студенческой жизни, поэтому я не ожидала, что что-то в моей жизни может им не нравиться. Но однажды отец сказал, что нам надо серьезно поговорить. Я подумала, что речь может пойти разве что о запущенных занятиях, и приготовилась «успокоительно» ответить, что перед сессией напрягусь, нормально подготовлюсь и все будет в порядке (как бывало уже не раз), но оказалось, что догадки мои были не совсем точными. «Ты совсем не бываешь одна, меня это тревожит! Даже читать стала меньше, – тут стало понятно, что дело не только в приближающейся сессии и затормозившейся курсовой работе. – У думающего человека должна быть потребность в уединении!» Честно признаюсь, что в тот момент слова эти мне резко не понравились – я очень боялась одиночества. Буркнула в ответ что-то насчет того, что вот закончатся студенческие годы и все это кончится – тогда и буду одна. «Да я же совсем не о том!» – с горечью воскликнул отец. Но вдумываться в различие понятий «уединение» и «одиночество» мне тогда не хотелось. Только годы спустя я «изнутри» поняла, о чем он говорил... А тогда – напомнила их с мамой рассказы о киевской студенческой молодости. Папа с досадой ответил, что рассказы их были не полными (и что они не ожидали, что я «все восприму так буквально!»), что рассказывали они об интересных случаях, о воспоминаниях забавных или лирических, но – не о буднях, когда вовсе не таким уж непрерывным было их общение с друзьями... Но я не очень поверила, восприняв это как «педагогический прием», что, разумеется,

вызывало во мне только отторжение.

Человеческие отношения («роскошь человеческого общения») всегда, а в молодости особенно, были для меня самым главным: стоило чем-то сильно огорченной подруге позвонить и попросить приехать к ней, я бросала все свои неотложные дела и мчалась (чаще всего – в восьмое общежитие), надолго пропадая там. Папа посмеивался (иногда раздраженно), говоря о разговорах с подругами, ради которых я так срывалась с места: «Ясно! Это из серии «А ты что? А он что?» Однажды в ответ на эти обвинения я «ударила поэтом» – Владимиром Луговским, вспомнив строки из его «Середины Века» – о двух девушках в разрушенном городе (или – перед страшным землетрясением? – забьлось...), говорящих «все о том же...».

До конца, конечно, не убедила, хотя... Как ни тревожило отца, что в самом деле львиная доля времени уходила у меня тогда на дружеское общение, его отношение к этому было достаточно противоречивым: не мог он не помнить, сколько времени и душевных сил сам отдавал в молодости друзьям, глубоко вникая в их переживания, вместе с ними радуясь и печалась... Не об этом ли – в его обращенных к другу стихах военных лет (часть которых я уже процитировала здесь в другой связи): «Ты помнишь ночь, когда ты был влюблен? / Наш город пел, и сердце пело тоже... / Ты говорил, что это только сон, / А я – что это на любовь похоже?».. Так что – не мог не чувствовать и в этом – «свое»...

Еще одно противоречие. «Жить надо страстями!» – этот призыв обаятельного профессора Ниточкина (из фильма «Наш современник») «нашел отклик во многих сердцах». (Юмористическая окраска не отменяет, как и в самом фильме, серьезной сути утверждения...) Папа тоже радостно смеялся во время этого эпизода, услышав несомненно глубоко близкое себе. (Он часто говорил и писал по поводу своих или маминых «производственных неприятностей» – замедленного продвижения книг в печать, недобрых отзывов и т.п., что необходимо помнить, что «не в этом суть»...)

Тем не менее, когда он видел воплощение этого «принципа» в моей жизни (особенно в периоды личных неудач – напряженное ожидание обещанного звонка, иногда подолгу, вечер за вечером, так и не раздающегося...), и как я во все эти вечера не нахожу себе места, срываясь на каждый звонок, потерянно брожу по дому или лежу на диване, угрюмо отвернувшись к стене, не в силах ничем заняться, теряя интерес ко всему в обычном состоянии интересующему, надолго погружаясь в беспросветную глухую тоску – он буквально приходил в ужас. Лучше бы отцу этого не видеть! Но трудно было, живя под одной крышей и «имея один телефон» (и как мы жили без сотовых?!), мне сделать так, чтобы родители не видели творящееся со мной, а им – не видеть. Думаю, что на самом деле папа и в этой моей острой эмоциональной зависимости и ранимости узнавал много своего, но в таких проявлениях это не могло радовать – очень хотелось ему, чтобы во мне было побольше «самодостаточности», но увы... «Гордой независимости», какую он так мечтал увидеть во взрослой дочери, не наблюдалось. «Так нельзя! Ты должна стать сильнее!» – говорил он иногда огорченно, иногда – сурово-осуждающе, но на всю жизнь запомнились и потрясли меня другие его слова: «Страдания выросших дочерей посланы отцам в наказание за грехи юности!», и еще: «Когда я вижу такое – вижу тебя такой – начинаю думать, как никогда в жизни не думал! – чем так мучиться, лучше вообще никогда никого не любить!»

Однажды я сказала: «Думаешь, одна я так “с ума схожу”?! Да ты просто других не видишь и не знаешь! Уверю тебя, со всеми такое бывает – даже с твоими «умными-разумными» аспирантками!» Дело в том, что отец часто ставил мне в пример своих «организованных» аспиранток, «по-настоящему увлеченных наукой» и «умеющих не погружаться в личные переживания до такой степени», чтобы забывать обо всех делах. Не знаю, как у кого из них было на самом деле, но виделись они моему отцу так. Мне показалось, что слова мои его удивили и заставили чуть усомниться в своем видении, но соглашаться вслух ему не хотелось: «Ну не знаю! Во всяком случае, главы свои они приносят к назначенному сроку!»

В конце концов и я вовремя защитила диплом – и даже получила за него золотую медаль на всесоюзном конкурсе! (Но не спорю, что в то время, о котором вспоминаю сейчас, отец имел все основания сомневаться в таком исходе...) Особенно приятно мне было узнать, что вопрос о вручении награды в том году решался в Киевском университете, где еще работали те самые люди, что клеймили моих родителей на разгромных собраниях 1949 года. Вряд ли они присудили бы мне эту награду, если бы дипломы не шли под девизами! Фамилии авторов стали известны им только после принятия решений. Как веселились мы с родителями, представляя реакцию тех людей, так неожи-

данно увидевших давно знакомую фамилию! «Пусть знают, что вы и сами не пропали, и даже «не самых дурных» детей вырастили!» – ликовала я.

Тем не менее волнений по поводу моей «карьеры» отцу хватало и потом, когда с моей кандидатской диссертацией приключилась в сущности трагикомическая история. (Так все это видится мне сейчас – «за давностью лет», тогда же никакого комизма мы «почему-то» не замечали...) Дело в том, что меня сильно «подвела» та самая любовь к Майклу Монту – в значительной степени ему была посвящена моя дипломная работа о «Саге о Форсайтах». Продолжила я эту тему и в диссертации: рассматривая «Сагу о Форсайтах» на фоне английской литературы XIX века, я стремилась доказать, что в Майкле воплощен высокий нравственный идеал Голсуорси и что героя такого уровня нет во всей предшествовавшей «Саге» английской литературе. В результате всего этого я была обвинена (в ленинградском вузе, не принявшем работу к защите, в уральских вузах в те годы не было ученых советов по зарубежной литературе) в «абстрактном гуманизме» и «отсутствии классового подхода» к «социально незрелому» автору и его героям. (До горбачевского «нового мышления» было еще далеко...) Впрочем, мне было предложено «переработать» диссертацию – так в обтекаемой форме обозначался совет по сути дела «сменить плюсы на минусы». (При этом в кулуарах мне было «попутно рассказано», что в 1949 году я услышала бы куда более суровые обвинения, причем в подтексте явно предлагалось «быть благодарной за сравнительно снисходительный подход. Я ответила, что про 1949 год мне все хорошо известно по биографии родителей).

Суть данного мне в итоге обсуждения совета: «подумать о социальной ограниченности Джона Голсуорси, приведшей к созданию неудачных образов Майкла Монта и Динни Черрел». Ни о чем подобном, разумеется, не могло быть и речи! Папа это хорошо понимал. Он и сам не мог хотеть, чтобы я до такой степени приспособленчески унизилась, но ему, естественно, все же хотелось, чтобы я защитилась, и он пытался найти какие-то приемлемые компромиссные варианты: предлагал перевести проблему в область академической теории литературы (хотя знал, что я всегда была далека от этого) и «эмоционально безоценочно» рассмотреть, например, эволюцию конфликта в творчестве Голсуорси. «Но и при таком повороте Майкл всегда останется на высоте!» – «Да, но в этом случае ты объективно докажешь, что такова была точка зрения Голсуорси!» – «Да я это и так доказала!» – «Да, но при академическом подходе ты себя и свои личные симпатии вынесешь за скобки, так будет лучше». (На самом деле он, конечно, имел в виду не «лучше», а «проходимее». Самому ему обычно нравилось то, что я писала «с включением личных эмоций»...) Но я не захотела «отрешаться от личных симпатий»: «Не буду я предавать Майкла!» – В тот момент отец не сообразил в том, что в глубине души эта позиция была ему симпатична. Он сказал это много лет спустя, а тогда – вновь заговорил о моей «затянувшейся незрелости».

«Незрелость»... Это было, как я уже обмолвилась здесь чуть раньше, одной из самых его глубинных и болевых внутренних тем. В то наше долгое удрученное хождение по улице Горького в Москве папа впервые поделился потрясшим меня воспоминанием. Очень многие эпизоды его и мамино детства и их общей молодости (шутки, забавные приключения, лирические минуты) я знала, но об этом услышала впервые... Ему было тридцать лет, когда умер его отец. К тридцати годам за плечами моего отца было уже немало пережитого: война и долгая разлука с моей мамой и всеми родными (с долгим незнанием адресов), тяжелое ранение, защита кандидатской диссертации в Казани, послевоенное возвращение в Киев «со слезами на глазах» (узнал о гибели друзей, да и общая атмосфера 40-х годов к веселью не располагала...), рождение ребенка (меня), долгая тяжелая болезнь отца (моего дедушки), которого он очень любил и, несмотря на знание диагноза, не был готов к неизбежному. Настолько не был готов, что на похоронах его мама, сама бывшая в очень тяжелом состоянии, вдруг тихо сказала ему: «Когда умирают родители взрослых детей, это естественно. Взрослые дети должны понимать это и быть готовыми». (Что побудило ее сказать это в такую минуту? – Думаю, что она увидела в лице своего взрослого сына что-то настолько беззащитное, что – испугалась...) А он ответил: «Не уверен, что я взрослый. И что когда-нибудь стану настолько взрослым». В какую-то минуту тех страшных дней 1987 года я вдруг вспомнила тот разговор...

А «насколько взрослым» папа не стал никогда. В 1962 году пришло тяжелое известие из Киева – умерла Рая Кун, самая близкая их подруга со студенческих лет. Папа узнал об этом поздно, находясь далеко от дома, и потому сохранилось его письмо маме: «Нет Райки. Ты можешь понять, что это значит, Саррочка? Нет, и ничего к этому не добавишь. И сейчас в Киеве похороны, и идут

все друзья, и приятели, и всякая шваль. И среди них – Юзик. <...> Утром я получил телеграмму <...>. Позвонил им и маме и узнал, что похороны в четыре. А самолет уходит отсюда (из Кисловодска. – *Л. К.*) в четыре сорок. В Киеве – в восемь сорок пять. Какой смысл лететь? А Райки нет. Со всеми ее рго и contra – нет. Там, на Лукьяновском, или еще где-нибудь. Вспоминаю ее – в Ботаническом, когда читали греков, в Сталинграде, в Казани <...>. Позвонил Риве. Телеграфировал Яше (киевским друзьям, давно не живущим в Киеве, – Я. Гордону и Р. Привороцкой. – *Л. К.*). А тебе? Не знал, что делать. Решил – не вправе молчать <...> И вот уже вечер, и Юзик пришел домой. И Толя дома, и Сашка... Послал им такую телеграмму, какую сумел. Венок от нас с тобой был – я дал команду в Киев. Но жизнь... Мне очень хочется сейчас все это понять, но я останавливаюсь перед какой-то стеной. Помнишь, я как-то говорил тебе, что не могу понять простой вещи <...> жил, не живет. Написать Толе? Я писал им вместе, обратившись «Дорогие друзья», дней пять назад. Юзику? Все запуталось, все стало страшным. Ладно, родная. Что тут скажешь?») (Папа знал и помнил, как сильно и безответно Юзик любил Раю в их далекой довоенной юности, и хотя у него давно уже была любящая и нежно любимая им семья – во время войны Юзик был тяжело ранен и потерял ногу, с Ниной они познакомились в госпитале, где она преданно ухаживала за ним, и вместе вернулись в Киев, у них родились прекрасные сыновья – та болевая память в его душе жила. Всю жизнь оставался он преданным другом Раи, по первому зову приходил на помощь, и папа понимал, каким ударом стала для него ее смерть. Толя – муж Раи).

А что касается моего «невзрослого поведения» (такого, например, как, после отказа принять мою диссертацию к защите быстрое «отключение» от этого и увлеченная беготня по ленинградским театрам, а немного позже, когда Белла Ахмадулина приехала в Свердловск, где я жила тогда, – очарованное хождение на все ее пять вечеров), то годы спустя я была счастлива прочесть в письме отца из Кисловодска, что в тех горных прогулках ему многое увиделось по-новому и что, хотя было время, когда ему казалось, что в то время мне должно было быть «не до этого», сейчас думает, что «по большому счету» я была тогда права и жила «правильно». И не только тогда... И самое волнующее – что он вдруг понял, что его мечта сбылась и на самом деле в давние годы он мечтал как раз о такой дочери! Он процитировал в письме две строчки из не дописанных к моему дню рождения стихов: «Я все еще думал: Какая ты будешь? / – А ты уже есть!»

...Все эти годы я много мысленно говорю с отцом. Как счастлив был бы он узнать, что я написала книгу о Марине Цветаевой, что пишу еще одну, что узнала и оценила радость уединения за столом, чего он так хотел для меня. Был бы он рад сейчас и другим поворотам моей жизни...

А «совсем взрослой» я так и не стала. (Это хорошо знают мои друзья, связи с которыми сохранились с тех самых давних лет). Впрочем, на самом деле папа этого и не хотел.

*Дата поступления рукописи в редакцию 28.05.2012*

## **DAUGHTER'S MEMORIES**

***Lina Kertman***

Str. Klebanoff 12 /1, 32804, Haifa, Israel

lina.kertman@rambler.ru